
К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ

В. Д. Денисов¹

Российский государственный гидрометеорологический университет

«ИСТОРИЯ ИВАНОВ» В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ

Статья посвящена тому, как еще в юности Гоголь начал поиск типажей исторических и современных «средних» героев – Иванов, которые становились бы центром драматического и / или эпического действия. Таковы типичные герои Иваны в идиллии «Ганц Кюхельgarten» (1829), двух главах из малороссийской повести «Страшный кабан» (1831) и двух повестях из второй части цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832). При этом в центре внимания автора оказывались история Малороссии, картины ее быта, «история создания семьи» и перемены в козацкой натуре. Однако причины таких изменений намечались с помощью отдельных, якобы случайных сопоставлений прошлого и настоящего.

Ключевые слова: раннее творчество Н.В. Гоголя, «история Иванов», идиллия «Ганц Кюхельgarten», две главы повести «Страшный кабан», «Вечера на хуторе близ Диканьки».

V.D. DENISOV

Russian State Hydrometeorological University

«THE HISTORY OF IVANS» IN GOGOL'S EARLY WORKS

The article is devoted to Gogol's early writings and his search for types of historical and modern "average" heroes – Ivans, who would become the center of dramatic and / or epic action. These typical heroes-Ivans appear in the idyll Ganz Kuchelgarten (1829), in two chapters from the Little Russian story The Terrible Boar (1831) and two narratives from the second part of the cycle Evenings on a Farm Near Dikanka (1832). The author's focus turned to the history of Little Russia, the pictures of its life, "the family history" and changes in the Cossack nature. However, the reasons for such changes were outlined with the help of separate, supposedly random comparisons of the past and the present.

Keywords: Gogol's early writings, "the history of Ivans", the idyll "Ganz Kuchelgarten", two chapters of the story "The Terrible Boar", "Evenings on a Farm near Dikanka".

¹ Владимир Дмитриевич Денисов, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ, Санкт-Петербург)

По признанию писателя в «Авторской исповеди», первые его произведения «были почти все в лирическом и сурьезном роде» [Гоголь, 1937-1952, т. VIII, с. 438]. Это гимназические опыты, от которых осталось только заглавие: поэма «Россия под игом татар», стихотворная трагедия «Разбойники» и славянская повесть «Братья Твердиславичи» [см. об этом: Манн, 1994, с. 109-110]. Видимо, тогда юноша был склонен представлять историю как Божественный театр с героями и толпой, «актерами» и «зрителями-существователями» (отчасти о таком восприятии жизни в театральном – и трагическом, и комедийно-сагирическом плане – свидетельствуют его письма 1827 г. [см.: X, с. 85-88, 99-101]).

Отсутствие достоверных сведений позволяет лишь предполагать, насколько актуальны для гимназиста Гоголя были попытки воплотить Историю на сцене, чью притягательность он уже ощутил. В то время оригинальные и переводные исторические трагедии считались «вершинами» романтизма, вызывали множество подражаний. Для юного театрала они были куда ближе романов, вероятно, и потому, что – в силу своей условности – не требовали особых исторических познаний, житейского и психологического опыта, конкретных подробностей и связей, без чего невозможен роман. И первоначальные записи в подручной «Книге всякой всячины» Гоголя-гимназиста были вероятным подспорьем для его драматических опытов, ибо в большинстве посвящены лексикону, одежде, нравам малороссиян и русских в XVII в. как возможных персонажей Смутного времени. Само же обращение к прошлому ради понимания настоящего, использование «уроков истории» во многом предопределило последующие творческие поиски Гоголя с тщательной исторической и этнографической «проработкой» материалов повествования, сочетанием эпических, лирических и драматических начал, а главное – созданием объединявшего их, типичного, «усредненного», несколько театрального образа «героя своего времени и народа», которого можно условно назвать Иоанном (др.-евр. ‘милость Божья’).¹

Изначально этот интернациональный образ был отнесен к европейской культуре. Идиллия «Ганц Кюхельгартен», созданная Гоголем и его однокашником Н.Я. Прокоповичем в 1827–1829 годах², – это поэтическая история юного героя-мечтателя Ивана (нем. Johann,

¹ Здесь и далее, определяя значение онимов, мы опираемся на словарные статьи и комментарии в изд.: [Гоголь, 2001, с. 674-675, 840-843; Фасмер, 1986-1987; Суперанская, 2005].

² Изучение идиллии показывает, что участие в ее создании и обработке принимал однокашник Гоголя, будущий редактор его сочинений Н.Я. Прокопович (1810–1857). Чуть позже он опубликовал стихотворения, чьи мотивы созвучны некоторым главам «Ганца Кюхельгартена» (Мои мечты // Лит. прибавления к «Русскому Инвалиду». 1831. № 43; Полночь // Северные Цветы на 1832 год. – СПб., 1831). Там есть и прямые переклички с идиллией, каких нет в последующем гоголевском творчестве.

традиц. уменьшит. Hans / Ганс). Тот в одиночку и, скорее всего, мечтая, по книгам, ибо речь о брэнном не шла, вдруг отправлялся странствовать по Европе, чтобы причаститься ее Истории, увидеть великие творения Искусства, но обретал уверенность в себе и, вероятно, семью, только вновь очутившись (очнувшись?) в родном деревенском Доме. Причем само обращение к Античности – началу европейской культуры понималось героем как первопричина его отчуждения от настоящего. Затем, постепенно «взрослея» в путешествии-мечте, Ганц-Иван осознавал культурно-историческую преемственность, обусловленность настоящего прошлым и принимал окружающее как итог Истории. Лишь тогда, после открытия Града и Мира, он начинал действительно ценить свой Дом.

Русская культура соединялась в «истории Ганца–Ивана» с европейской и жанром, и языком **идиллии**¹, мотивами поэзии: как немецкой, так и русской (в основном – Пушкина), а также темой поддержки в Европе и России дела освобождения христианской Греции. При этом финал идиллии знаменовал движение от интернациональной «истории **Ивана**» – типичного современного героя-одиночки (кто, читая и мечтая, познает мир и развивает духовную сферу «через» общечеловеческие Историю, Искусство, Культуру и приобщается к извечным ценностям) – к «истории семьи» как части **поэтической истории народа**, отражающей его Искусство и Культуру. Такое повествование должно было иметь соответствующие историко-литературные, бытовые, фольклорные и/или этнографические особенности. Естественно, менялся и образ современного «среднего» героя.

Именно его Гоголь далее сделал центром идиллических картин современной Малороссии в опубликованных под псевдонимом *П. Глечик*² главах «Учитель» и «Успех посольства» из малороссийской повести «Страшный кабан» (Литературная Газета. 1831. № 1, 17). В основе этих отрывков лежала литературная игра: их сюжет перекликался с уже известным российскому читателю сюжетом повести В. Ирвинга «Легенда о Сонной Ложине» (в рус. пер. – «Безголовый мертвец» [Ирвинг, 1826]), где пришлый учитель соперничал с деревенским шалопаем из-за прекрасной Катерины. А название «Страшный кабан», видимо, указывало, что для посрамления соперника шалопай использовал какое-то местное поверье. Такое сближение подтверждалось и внешним сходством учителя из американской глубинки с малороссийским «педагогом» – бывшим семинаристом, и ситуацией их соперничества из-за «красавицы». У Гоголя народные характеры «педагога»-семинариста и деревенского

¹ Выделено здесь и далее нами. – В.Д.

² Курсив здесь и далее наш. – В.Д.

шалопая дополняли друг друга, ибо порознь восходили к «дяку-пиворезу» – типу школьника / семинариста в украинских интермедиях: он «отбившись от школы за великовозрастием... увлекается предметами, чуждыми строгой духовной науке: ухаживает и за торговками, и за паннами, пьянствует... пускается в рискованные аферы» [Перетц, 1902, с. 50-51].

Читатели могли заметить, как известное им значение личных имен соответствовало характерам героев этих глав: полностью / частично / в какой-то мере. Тем самым значение имен напоминало амплу персонажей сказки и народного театра. Здесь Иван – и *простяк*, и заурядный, пошлый, неказистый герой, который хитро и настойчиво завоевывает себе место в обществе. А наивная, «чистосердечная» героиня традиционно зовется Катериной (*греч.* ‘чистая, непорочная’). Имя ее отца – не участвующего в действии козака¹ «Харька Потьлицы» (в словаре имен Гоголя: «Харитин, Харько – Харитон»; *греч.* ‘щедрый, осыпающий милостями’) напоминает... хорька и харьку – масочку животного; его козацкое прозвище *Потьлицца* означает «затылок» (тот, кто «убегает, показывая затылок» и/или *перен.* «ничего не видит, не ведает»). Кухмистер Онисько («Онисечко – Анисим»; *греч.* ‘исполняющий, совершающий’) представляет собой не очень умного, хотя и настойчивого *исполнителя*. Учитель Иван Осипович и помещица Анна Ивановна «парны» и по единому значению имен и отчества, и потому, что у благородных героев эти онимы русские, в отличие от простонародных украинских. Так, например, у мирошника (мельника) Солопия Чубко основное прозвище связано с «чубом» – метонимическим обозначением козака, а простонародное имя/кличка – с *укр.* глаголом *солонити* («лизать, высовывая язык»)², причем *Солоний* созвучен и холопу, и салопу – верхней женской одежде, широкой длинной накидке. А смысл прозвища бабки Симонихи, подслушивающей и подглядывающей за влюбленными, обусловлен значением имени Симон (*др.-евр.* ‘слышащий’).

Такими же простодушно-естественными, как смысл имен, были и взаимоотношения героев. Автор высмеивал их духовное несовершенство и «физиологические» пороки: пьянство, обжорство, тупость, сплетни, празднословие... И потому посрамление учителя объяснялось бы весьма просто и отнюдь не мистическими причинами.

¹ Здесь и далее в слове козак и производных от него (обозначавших, по Гоголю, воинское единство, какое сложилось в особых исторических условиях и стало основой народа) сохранено написание черновых редакций – в отличие от подцензурных наименований того времени: казак и подобных.

² Здесь и далее везде цит. по этому изд., указывая в круглых скобках после цитаты через запятую: том – римской цифрой, страницу – арабской.

Но замена духовно-религиозного плана материально-физиологическим имела необратимые последствия: недоучка-семинарист «торжествовал» в храме над дьячком – представителем церкви, «сам сатана перерядился в... бабу», «старую ведьму» Симониху, а «бес как будто нарочно дразнил» кухмистера, когда тот, по просьбе учителя, шел объявить о его любви Катерине (III, с. 264, 275-276). Но затем, обнаружив ее благосклонность к себе, Онисько сразу же отказывался, ради личного счастья, от мужской дружбы (как Андрий Бульба – так в повествовании впервые появляется намек на «вырождение», «историческую порчу» козаков).

Дело в том, что на рубеже 1820-1830-х годов, в связи с Польским восстанием, вновь стали актуальными вопросы о происхождении малороссийских козаков, об их разделении на запорожских и обычных, о роли тех и других при освобождении Малой России от польского гнета. И, как показывает сопоставление ранних произведений Гоголя и современных ему обзоров малороссийской истории, вначале юноше были близки взгляды Н.М. Карамзина и точка зрения «официально-гимназического» курса истории [см. об этом: Денисов, 2018, с. 30-31]. В природе козаков он видел влияние азиатского языческого «хаоса», побуждавшего к наживе, разрушению, разгулу и пьянству, а последующее упорядочивание и смирение общественных нравов связывал с влиянием «русской» Церкви, с культурным, языковым и, наконец, государственным единением двух народов. «Гимназический» просветительский взгляд на человеческую природу подразумевал, что пороки и недостатки могут быть исправлены долгим последовательным естественным развитием. И герои гоголевских идиллий сами, без участия родителей, и рационально, и под влиянием чувств выбирали себе судьбу, несмотря на возможные, осознаваемые ими трудности. Над ними не было властно несовершенное прошлое, зато будущее виделось им лучшим и гармоничным. *Чудесное* же представлялось им вне действительности: в мечтах, игрой воображения, с книжным и/или театральным оттенком, – оно было излишне для гармонии жизни, отчетливо противопоставлялось ей. Поэтому образ «страшного кабана», оживший в фантазиях «просвещенного» недоучки, когда тот столкнулся ночью с обычным (или специально «подготовленным») хряком, на деле объяснялся нарочитой мистификацией. То же касалось и прошлого: время козаков – геройское или нет – минуло! остались красивая картинка, клички, прозвища, легенды, а их нынешние потомки по-женски слабы, трусливы, болтливы, меркантильны, мнительны...

Таким образом, с первых же творческих шагов (учитывая и повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» 1830 г., фрагмент «Женщина» и «Главу из исторического романа» 1831 г.)

Гоголь явно ориентируется на то, что впоследствии станет определять проблематику повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки», – историю мира и Малороссии с подробными (и комичными тоже) картинами быта в прошлом и настоящем, «историю создания семьи» и темы «исторического изменения (измельчания) козаков». Но о типичных героях Иванах пойдет речь только во второй части цикла 1832 г. Так, в повести «Страшная месть» слепой бандурист, описывая жизнь «козаков Ивана да Петра», относит ее к правлению «пана Степана... короля... ляхов», то есть Стефана Батория, польского короля (1576 – 1586), а характеризуя их *братство*, прямо упоминает о воровстве: «...угоняли ли чужой скот, или коней, всё делили пополам» (I, с. 279). Сами козаки названы «рыцарями» – католическими воинами, утверждавшими христианскую веру в боях с «турчином», и отчасти это далее мотивирует не только *месть* Петра Ивану за «честь от короля», за что Петр столкнул в пропасть названного брата с его сыном-младенцем, но и ответную *месть* Петру Ивану, попросившего у Бога продолжить жизнь преступного рода с ужасными муками и злодеяниями по отношению к людям (I, 280-281). Но всё это показывает козаков *героями* (различного плана!), а события их жизни – в *исторической и евангельской перспективе*.

Современная же автору жизнь, как она описана в следующей повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», лишена каких-либо явных противоречий, а потому – фактически – и *событий*, и *героишки*. Этому соответствует образ «Ивана, родства не помнящего», отставного офицера: не знавшего отца, до 17 лет без толку сидевшего за партой, а затем так же бесцельно до 37 лет служившего «в полку» (судя по описанию, в Переяславском карабинерном, образованном при Екатерине II из расформированного козацкого, – ср.: общезначимая Переяславская рада). Кротость, робость и благонравие его характера ведут к отсутствию в жизни общезначимых событий: в школе был лишь **один случай**, когда «страшный учитель» наказал его за проступок, как наказывал и других, в армии Иван Федорович не пьет, не танцует, не играет в карты, чем, как указано, обычно и усердно занимались другие офицеры (именно так понимая военную службу!), а исправно командует «своим взводом». При этом он *никогда не берет* положенный офицерам отпуск, чтобы посетить свое поместье, родных и/или отдохнуть; его заметно *не трогают* ни смерть матери, ни известия тетушки, ни даже выход в отставку. И после службы он сохраняет ее привычки и лексику («... невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он дельвал, когда спрашивал его о чем полковник. “Отставной порупчик Иван Федоров Шпонька” <...> “Так точно-с”...» – I, 290, 298).

Тогда и появляются в повествовании приметы, как бы случайно соотносимые с прежней историей козаков. Вот мальчик-слуга «в козацкой свитке», хотя и «с заплатанными локтями», вот дважды

упомянуто село Хортгыще по соседству с хутором Шпоньки, а это название острова Хортица (от *укр.* хорт – ‘охотничья собака’) на Днепре, где в XVII в. была первая Сечь Запорожская с её героическими обителями. Но село со знаменитым названием и, очевидно, со всеми крепостными **принадлежит помещику** Сторченко, и позднее, когда Шпонька будет у него в гостях, он заставит «подлеца» официанта встать «на колени» и басовито просить, чтобы гость взял лучший кусок (вряд ли можно, хотя и комически, ярче показать крепостную зависимость). Да и семейство Сторченко демонстрирует, вместо родственной любви и братства, отношения зависимости от **хозяина**, который может позволить себе многое, солгать гостю, заставить делать то, что тот не хочет, даже нарушить законы гостеприимства – правда, по отношению к человеку, которого он гостем не считает.

Это бедный сосед (скорее всего, однодворец) Иван Иванович «в долгополом сюртуке, с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке. Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету; вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил. И, закусивши хлебом с солеными опеньками, оборотился» к Шпоньке, которого якобы знает с детства (I, с. 298). Кроме того, он всегда знает наверняка то, чего другие не знают, помнит то, что никто не помнит, судит обо всем сразу и, разумеется, уверен в своей правоте так же, как другие – в его лжи и ничтожности. Так, он «более всех говорил и действовал» в отсутствии хозяина. «Будучи уверен, что его теперь никто не собьет и не смешает, он говорил и об огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие в старину были разумные люди, – куда против теперешних, – и о том, как всё, чем далее, умнеет и доходит к выдумыванию мудрейших вещей. Словом, это был один из числа тех людей, которые с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором, и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить. Если разговор касался важных и благочестивых предметов, то Иван Иванович вздыхал после каждого слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственных, то высовывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочесть, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору» (I, с. 301).

Представляемая **Иван Иванычем** «пошлость в квадрате» контрастирует с поведением Ивана Шпоньки, чья жизнь не героична, бессобытийна, но не приносит зла. В ней даже есть *мгновения* поэтические, когда он во время косьбы или жатвы, глядя на степной закат, испытывает то единение с природой, что дано лишь вольным и сильным личностям, какими были его козацкие предки: «Трудно

рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединяясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку...» (I, с. 294-295). Но, вместе с тем, он сын своего расчетливого века и потому в такой момент также может «считать копы нажатого хлеба, унизывавшие поле». О неоднозначности, двойственности его «духовно-материального мира» должны свидетельствовать и сны, где переосмысливаются понятия женитьбы-собственности и животные черты супружества.

Заметим, что эта повесть – единственная современная и книжная во 2-й части «Вечеров» и там специально сказано, *как* якобы случайно её заурядно-бытовое содержание получило свою «фрагментарно-книжную» форму. Но, вставленная в искусственные рамки романтической поэтики, картина пошлого существования обнаруживает яркое пародийное несоответствие *стиля* и *смысла*. Отсюда обрывочность, недосказанность, вместе с тем – избыточная детализация и пунктуальность, некая «натянутасть» стиля и дисгармония художественного мира, почти не связанного с историей и культурой народа. Ведь здесь родовые связи (важнейшие для настоящих повествователей и героев «Вечеров») и даже обычные отношения между людьми настолько ослаблены, что могут прерваться в любой момент. Эти, угрожающие духовному единству людей, пошлость и раздробленность, видимо, порождены «цивилизацией», испортившей национальный характер, проявившей в нем отрицательные и/или ранее не свойственные черты. О чём и говорит художественно «ущербная», фрагментарная (как бы «недосказовая» – в отличие от целостных народных повестей) *псевдоромантическая* история Ивана: она тяготеет к романическому «стернианскому» типу повествования [Виноградов, 1976, с. 254; Дмитриева, 1992], но так и не «дорастает» до него. Обрывочное изображение действительности просто не дает воли на какие-либо перемены (он вынужден действовать лишь под напором внешних обстоятельств), его сознание и чувства «непроявлены», – потому и нет возможностей для полноценного повествования. Это иронически подчеркнуто появлением, а затем утратой перспективы *современного малороссийского романа как истории любви*, которая могла возникнуть, если бы герои настоящего чувствовали и действовали.

Но Шпонька (*укр.* ‘запонка’) так бездействен и настолько «никакой», что не может быть героем, а только персонажем. И тогда в роли «настоящего козака» его заменяет тетушка Василиса (*лат.* ‘царственная’). «Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала

непростительную ошибку <...> Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова; стреляла дичь; стояла неотлучно над косарями; знала наперечет число дынь и арбузов на баштане; брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю; взлезала на дерево и трусилась груши; била ленивых вассалов своею страшною рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки» (I, с. 293-294). Заметим, что охота, рыбная ловля, косьба, заведение баштанов и фруктовых садов, «курение» водки были не просто мужскими, но *традиционно козацкими* занятиями. Тому же соответствуют и «внутренние» простонародные высказывания тетушки – например, «*Воно ще молода дьтына!*» (I, с. 294). А дальше именно она проявляет «мужские» собственнические намерения (на землю, якобы подаренную настоящим отцом Ивана) и брачную инициативу – для самого племянника чуждые, непонятные, пугающие, – и, наконец, лелеет какой-то «совершенно новый замысел», чем, собственно говоря, и завершается всё повествование.

Таким образом, в самой повести, как, впрочем, и в двух главах «Страшного кабана», не было и речи про историю малороссийских козаков, как и прямого ее противопоставления современности. Но всё это подразумевалось яркой исторической тематикой других повестей в «Вечерах», непосредственным сопоставлением с ними самой повести и сделанных в ней неких и прямых, и косвенных отсылок – с точки зрения цензуры, вполне невинных. В чем можно упрекнуть гоголевских персонажей? В обычном несовершенстве человеческой природы: тупости, эгоизме, косноязычии, обжорстве, лени, празднословии, жадности, хамстве, лжи, гордыне, скудоумии, пошлости, недомыслии, корысти, безверии и т.д., и т.п., ну и – как обычно! – замене духовных благ вполне материальными. А когда того же не было в истории?! Но и это еще не всё, ибо и привычные для нас феминистические проявления в то время не считались естественными, природными. Парадокс в том, что повесть Гоголя «Старосветские помещики» (1835) большинство из вышеназванного покажет в поэтически облагороженном виде (а еще пьянство, внебрачные связи, незаконнорожденных). А вот вражда в Миргороде двух бывших друзей – вроде бы дело житейское! – оборачивается чуть ли не катастрофой, да и цензурными нападками на автора. Почему? – Об этом в нашей следующей статье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Виноградов, В. В. Поэтика русской литературы. Избр. труды. / В.В. Виноградов. – Москва: Наука, 1976. – 508 с.

Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. / Н.В. Гоголь. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1937-1952. Далее везде цит. по этому изд., указывая в круглых скобках после цитаты через запятую: том – римской цифрой, страницу – арабской.

Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. / Н.В. Гоголь. – Москва: Наследие, 2001. – Т. 1. – 919 с.

Денисов, В. Д. Петербургский текст Гоголя / В.Д. Денисов. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. – 384 с.

Дмитриева, Е. Е. Стернианская традиция и романтическая ирония в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» / Е.Е. Дмитриева // Известия РАН. Сер. лит-ры и языка. – 1992. – № 3. – С. 18-27.

Ирвинг, В. Безголовый мертвец / Вашингтон Ирвинг // Московский Телеграф. – 1826. – Ч. 9. – С. 116-142, 161-187.

Манн, Ю. В. Поэтика Гоголя / Ю.В. Манн. – 2-е изд., доп. – Москва: Художественная литература, 1988. – 414 с.

Манн, Ю. В. «Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н.В. Гоголя. 1809–1835 гг. / Ю.В. Манн. – Москва: МИРОС, 1994. – 472 с.

Перетц, В. Гоголь и малорусская литературная традиция / В. Перетц // Н. В. Гоголь. Речи, посвященные его памяти... – Санкт-Петербург: Тип. Имп. АН, 1902. – С. 47-55.

Суперанская, А. В. Современный словарь личных имён: Сравнение. Происхождение. Написание. – Москва: Айрис-пресс, 2005. – 384 с. – (От А до Я).

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер. – 2-е изд. – Москва: Прогресс, 1986-1987.

REFERENCES:

Vinogradov, V. V. Poetika russkoy literatury. Izbr. trudy. / V.V. Vinogradov. – Moskva: Nauka, 1976. – 508 s.

Gogol, N. V. Polnoe sobranie sochinenii: v 14 t. / N.V. Gogol. – Moskva; Leningrad: Izd-vo AN SSSR. 1937-1952.

Gogol, N. V. Polnoe sobranie sochinenii: v 23 t. / N.V. Gogol. – Moskva: Naslediye. 2001. T. 1. – 919 s.

Denisov, V. D. Peterburgskiy tekst Gogolya / V.D. Denisov. – Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya, 2018. – 384 s.

Dmitriyeva, E. E. Sternianskaya traditsiya i romanticheskaya ironiya v «Veчерakh na khutore bliz Dikanki» / E.E. Dmitriyeva // Izvestiya RAN. Ser. lit-ry i yazyka. – 1992. – № 3. – С. 18-27.

Irving, V. Bezgolovyy mertvets / Vashington Irving // Moskovskiy Telegraf. 1826. – Ch. 9. – S. 116-142. 161-187.

Mann, Yu. V. Poetika Gogolya / Yu.V. Mann. – 2-е изд., доп. / Yu. V. Mann. – Moskva: Hudojestvennaya literatura, 1988. – 414 s.

Mann, Yu. V. «Skvozь vidnyy miru smekh...»: Zhizn N.V. Gogolya. 1809–1835 gg. / Yu.V. Mann. – Moskva: MIROS. 1994. – 472 s.

Peretts, V. Gogol' i malorusskaya literaturnaya traditsiya / V. Peretts // N. V. Gogol. Rechi. posvyashchenniye ego pamyati... – Sankt-Peterburg: Tip. Imp. AN. – 1902. – S. 47-55.

Superanskaya, A. V. Sovremenniy slovar lichnykh imen: Sravneniye. Proiskhozhdeniye. Napisaniye / A.V. Superanskaya. – Moskva: Ayris-press. 2005. – 384 s. – (Ot A do Ya).

Fasmer, M. Etimologicheskiy slovar russkogo yazyka: V 4 t. / M. Fasmer. – 2-е изд. – Moskva: Progress. 1986-1987.